

Всеволод
КРЕСТОВСКИЙ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТРУЩОБЫ

Роман в двух томах
Том 1



Издательство АСТ
Москва

УДК821.161.1_31
ББК84(2Рос=Рус)1_44
К75

Серия «Классика исторической литературы»

Крестовский, В.В.

К75 Петербургские трущобы: роман в двух томах. Том I / Всеволод Крестовский. — М.: Издательство АСТ, 2019. — 736 с. — (Классика исторической литературы)

ISBN 978-5-17-116375-4

В.В. Крестовский — известный русский писатель XIX века, автор более двадцати книг поэзии, прозы и критических статей. «Петербургские трущобы» — наиболее значительное произведение писателя. Роман о внешней изысканной жизни Петербурга и о его невидимой, но истинной жизни, создает социальный портрет всего российского общества.

В данный том вошли первая — четвертая части романа.

УДК 821.161.1_31
ББК 84(2Рос=Рус)1_44

ISBN 978-5-17-116375-4

© ООО «Издательство АСТ, 2019

ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ

Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов.

Когда еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым – мне приходилось неоднократно выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?

Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и незнакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?

Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка; можно бы было без всякого ущерба и обойтись его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулеченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, это – кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут – не впервой!» – отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» – прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверей подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда

шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» – спросил я одну женщину. – «А черт ее знает, – надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая, наконец, довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пять – десять минут. Я думал, что это уже последняя грань петербургской мерзости и разврата – и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покорооче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города, и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.

Оставаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства, начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышите, студент, есть у вас деньги?» – «Есть. А что?» – «Дайте мне взаймы – сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» – обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товарок;

но через эти урывки для меня скользила целая драма – та-кая драма, в которой «за человека страшно» становится.

Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербур-ге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрест-ностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет пад-ший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая, в самом центре промышленного богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодо-вольно сытыми физиономиями? Как доходят люди до это-го позора, порока, разврата и преступления? Как они нис-ходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но да-же иногда физических ощущений страданий и боли? Отче-го все это так совершается? Какие причины приводят чело-века к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко – гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предше-ствовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на павшего человека: один ли он сам по себе виноват и причи-нен в своем безобразии и несчастьи? А если не один, то ви-новат ли еще, наконец, при его невежественности относи-тельно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас об-становке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропичес-кие возгласы, обеты и теории.

«Es ist eine alte Geschichte» – все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu»¹, быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таких – надо сознаться – не зани-мать пока.

В тот достопамятный – лично для меня – вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая сви-телась для меня – частью по услышанным и подхвачен-ным на лету урывками, частью же по собственной догадке и соображениям, – неволью как-то сама собою натолкну-ла меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, написал целую толстую тетрадь, но... ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал перед действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, — подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантское — и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.

Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трупов и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лег исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трупобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многообразны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.

Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры² не замедлят познакомить нас со множеством неизвестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трупоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются: в центральной нашей трупобе — доме князя Вяземского — есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.

Я считаю при этом первую и приятную обязанностью принести мою благодарность лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многообразными

ми отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, – лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежавших юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне, как автору, всегда хотелось печатать³. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического – а во многих местах и просто логического – смысла ни для кого не может остаться незамеченным.

Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.

Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними пробелами. Прошу читателя извинить их... Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь – и навсегда останусь – при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же – могу сказать по совести и смело – руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.

Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо – я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно – так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий, – писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан, – для меня существуют одни только люди – человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т.д.

Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии – трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ребенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требованый своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физическим, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет о спасении, об исходе, по причине очень простой и несложной: она их не знает.

Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, поддельвателей фальшивых бумаг и т.п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорит, что он служит человечеству; священник часто по-

ставлен в необходимость выслушивать ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же страницах покончить чтение моего романа – и я, в таком случае, только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.

Всеволод Крестовский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**СТАРЫЕ ГОДЫ
И СТАРЫЕ ГРЕХИ**

I КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с пологою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:

– Кого надо?

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:

– Передайте князю и княгине... тут цветы... Скажите, что от бельгийского консула... Приказали кланяться и отдать...

– Ладно, будет отдано! – ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.

Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеньям с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу – подметать гранитный мозаичный пол.

Вдруг, через несколько времени, в сеньях, неизвестно откуда, послышался слабый крик младенца. Швейцар был

очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.

– Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! – пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.

Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее – «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они – доложить обо всем немедленно же господам.

Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.

– Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство! Бог милости прислал...

– А?.. что?.. – пробормотал князь спросонок.

– Бог милости прислал вашему сиятельству, – почтительнейше повторил камердинер.

– Какой милости?

– Корзинку с цветами-с...

– Что ты врешь? какую корзинку?

– От бельгийского консула... приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.

– От какого бельгийского консула? – в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. – Что это, ты пьян, что ли?

– Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула... бог милостью посетил... корзинка с цветами...

Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.

– Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?

– Младенец-с...

– Какой младенец?

– Надо полагать, подкидыш... В корзинке этой самой положен... Мы без вашего сиятельства не осмелились...

– А!.. – произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.